

САРКОФАГ



Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

Саркофаг

<https://litres.ru/74163664>

SelfPub; 2026

Аннотация

Одинокий буксировщик Корин двенадцать лет возит чужой груз через пустоту, сторонясь людей и живого, — пока не оказывается на самой большой находке в истории человечества: трёхкилометровый чужой объект на краю системы, который корпорация «Гелиос-Прайм» готовится вскрыть в прямом эфире. Планетолог Ковач называет находку не сундуком, а гробом. Пилот Ная слышит в ней обещание встречи. Директор Голт видит патент века. Когда резак касается древнего камня, из него отвечает то, что запечатали не зря, — и весь путь корабля-приманки оказывается коротким. Повесть о цене любопытства, высокомерия и трёх глаголах: не буди, не режь, не корми.

Содержание

Часть 1. Груз	4
Часть 2. Разрез	17
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Эдуард Сероусов

Саркофаг

Часть 1. Груз

Корин простукивал переборку костяшкой — по одной заклёпке в секунду, как врач, слушающий чужую грудную клетку, — и «Дворняга» отвечала ему ровным, чуть простуженным гулом. Гул означал: держит. Всё держит.

Он знал этот корабль лучше, чем кого-либо из живых, и это его устраивало. Железо не лгало. У железа была честность камня: приложи достаточно силы — сломается, не приложи — стоит. Никаких вопросов, на которые не хочется отвечать.

За переборкой шёл третий контур охлаждения, старый, латаный, с подсвистом на четвёртой секунде цикла. Корин ждал подсвиста. Подсвист пришёл — тонкий, как жалоба. Он опустил руку и сделал пометку в засаленном блокноте: сольник, следующая стоянка. Стоянки у него теперь были редки. Он предпочитал космос портам. В портах были люди, а люди хотели говорить.

На пульте мигал вызов. Третий за час. «ГЕЛИОС-ПРАЙМ / ДИР. ЭКСПЕД. ГОЛТ» — значилось в строке, и рядом дёргался красный флажок приоритета, кото-

рый Голт цеплял ко всему, даже, наверное, к обеду. Корин посмотрел на флажок так, как смотрят на муху за стеклом. Потом протянул руку и приглушил канал. Не отключил — за отключение корпоративного вызова полагался штраф, вычитаемый из платы, — а именно приглушил, спустил в фон, где голос директора превращался в комариное нытьё.

За это платили. За то, чтобы тащить их железо через полсистемы и терпеть комариный писк, платили достаточно, чтобы потом год не видеть ни одного лица.

Двенадцать лет он возил массу. За двенадцать лет привыкаешь к тишине так, что чужой голос начинает царапать. Он знал буксировщиков, которые не выдерживали и года: одиночество выедало их изнутри, они начинали разговаривать с приборами, потом приборы начинали отвечать. Корина одиночество не выедало. Оно его держало — плотно, ровно, как вакуум держит корпус снаружи, не давая распасться. Он заслужил это одиночество. Он заплатил за него сполна и теперь тратил сдачу, медленно, год за годом, рейс за рейсом, и на цену не жаловался.

Он развернул кресло к иллюминатору.

Объект занимал уже треть неба.

Гелиос назвал его «Гесперидой» — красиво, с претензией, в честь тех, кто стерёг золотые яблоки на краю мира. Корину имя не нравилось. Гесперида стерегла сад; за садом полагалось золото; за золотом полагались герои, которые придут и возьмут. В самом названии уже пряталась развязка, которую

они хотели.

Сам он про себя звал его иначе — саркофаг. Не думая, откуда взялось слово. Оно пришло в первый же день, когда «Дворняга» вышла на визуальную дистанцию, и осталось.

Объект был длинным — километра три, может, больше, — тёмным, как обугленная кость, и неправильным. Неправильность была не в форме; форма как раз читалась: вытянутая капля, оплавленный нос, испещрённые бороздами бока. Неправильность была в том, что он выглядел закрытым. Не пустым, не мёртвым — закрытым. Заклёпанным снаружи. У Корины был на такие вещи глаз, выжженный однажды и навсегда.

Он смотрел на него уже двенадцать дней подряд, всю дорогу сюда, и за двенадцать дней объект не стал понятнее — только больше. Сначала точка. Потом ноготь на вытянутой руке. Потом стена. Теперь — треть неба, и Корин ловил себя на том, что старается не поворачиваться к иллюминатору спиной. Глупость. Камень есть камень, три километра мёртвого камня, летящего сквозь пустоту миллионы лет. Но было в нём что-то, от чего хотелось держать его в поле зрения — так держат в поле зрения крупную чужую собаку, которая ещё не решила, кусаться ей или нет.

Он поймал себя на том, что трёт большим пальцем шнурок на шее. На шнурке висел транспондер-ключ — маленький, потёртый, с чужого корабля, которого больше не было. Ключ от трюма, который Корин однажды вскрыл. Он заста-

вил себя опустить руку.

Комариный писк в фоне сменил тон — Голт перешёл к угрозам или к обещаниям, отсюда не разобрать. Корин не стал разбирать.

— Держит, — сказал он вслух, ни к кому. Костяшка сама поднялась и стукнула по переборке. — Всё держит.

Корабль загудел в ответ. Пока это была правда.

Канал ожил без предупреждения — не корпоративный, а прямой, пилотский, с той характерной чистотой, которую Корин узнавал раньше, чем слышал голос.

— «Дворняга», ты живой там? Или опять притворяешься железякой?

— Одно другому не мешает, — сказал Корин.

Ная засмеялась. Смех в наушнике был тёплым и близким — ближе, чем три километра вакуума между её «Фаэтоном» и его буксиром. За недели подхода этот смех стал единственным звуком на борту, который издавал не механизм.

Они познакомились по связи на вторые сутки подхода — она вызвала его уточнить массу груза, а осталась болтать на двадцать минут; и на третьи сутки вызвала снова, и на четвёртые. Корин, который двенадцать лет отвечал на пилотские вызовы одним словом и отключался, вдруг обнаружил, что ждёт этих вызовов. Он ей об этом не говорил. Он вообще мало что говорил ей прямо. Но он перестал глушить входящие в её вахту — и это было признание, которого он сам за собой не заметил.

— Голт тебя вызывал, — сказала она. Не вопрос.

— Голт всех вызывает. Голт вызвал бы вакуум, если бы вакуум ему задолжал.

— Ты его в фоне держишь, да? — В голосе было веселье и что-то ещё, осторожное. — Он это видит, знаешь. У него панелька, где горит, кто его слушает. Ты у него горишь серым.

— Значит, панелька работает.

Помехи прошелестели и стихли.

— Ты бы послушал сегодня, — сказала Ная тише. — Не его. Ковач. Она будет говорить на брифинге. Она нашла что-то в сканах.

— Я вожу железо. На брифинги не хожу. На брифингах решают, а я уже привёз.

— Ты привёз резак, Корин. — Веселья в голосе не осталось. — Ты понимаешь, что ты привёз? Они собираются его вскрывать.

Он понимал. Он вёз их две недели, эти резак, тяжёлые, как совесть, — плазменные контуры, способные пройти корпус линкора. Он старался о них не думать. Это была работа. Масса есть масса; ты цепляешь трос и тащишь, и не спрашиваешь, что на другом конце будут с этим делать.

— Это их находка, — сказал он. — Их право.

— Ты в это веришь?

Корин смотрел на «Гесперид». На закрытый, заклёпанный бок длиной в три километра.

— Я верю, что мне заплатят, — сказал он. — Остальное

не моё дело.

— Знаешь, что я думаю? — Ная не стала спорить в лоб; она никогда не спорила в лоб, она заходила сбоку, как заходят на посадку против ветра. — За всю историю мы ни разу никого не встретили. Ни одного голоса. Мы кричали в темноту сто лет и слышали только эхо. А тут — вот оно. Настоящее. Чужое. Пришло само.

— И ты хочешь его обнять.

— Я хочу его услышать. — Тихо, убеждённо. — Ты представляешь, Корин, что это значит — узнать, что мы не одни? Что там, снаружи, кто-то был? Мир после этого не может остаться прежним. Он должен стать больше. Мы должны стать больше.

— Ты так говоришь, будто уже знаешь ответ, — сказал Корин.

— Я знаю вопрос. — Голос стал тише, потерял лёгкость. — Я выросла на станции, которая умирала медленно. Целый маленький мир, и он гас по одной лампе за раз, и все вокруг делали вид, что лампы не гаснут. Знаешь, что я тогда поняла? Что хуже смерти — только смерть в пустоте. Умереть и знать, что никто никогда не узнает, что ты был. — Пауза. — Если там, снаружи, кто-то есть — значит, ни один погасший мир не гас зря. Кто-то помнит. Кто-то считает.

Корин молчал. Он не знал, что на это ответить, и молчание затянулось на несколько секунд помех, прежде чем он нашёл слова, — а когда нашёл, они были не про неё, а про

себя. Он знал этот тон. Он сам когда-то говорил таким — про находку, про премию, про то, как всё изменится, когда они вскроют трюм. Тон человека, который смотрит на закрытую дверь и видит за ней подарок.

— Ная, — сказал он наконец. — Не все двери запирают, чтобы спрятать сокровище. Некоторые запирают, чтобы что-то не вышло.

Помехи. Долгие.

— Ты сегодня мрачный даже для себя, — сказала она, и лёгкость в голосе была натянутой. Потом, без перехода, другим голосом — рабочим, пилотским: — Слушай. Когда привезёшь последний контейнер — не отцепляйся сразу. Останься пристыкованным. На всякий.

— На какой всякий?

— Просто. — Пауза. — Мне спокойнее, когда ты рядом. У тебя единственный корабль на всю экспедицию, который умеет уходить быстро.

Корин должен был сказать «нет». Отцепиться, сдать груз, взять плату и уйти в темноту, где нет ни Голта, ни брифингов, ни закрытых дверей длиной в три километра. Это было бы правильно.

— Останусь, — сказал он.

Он сам не понял зачем.

«Фаэтон» пах деньгами и страхом — двумя запахами, которые Корин научился различать давно. Деньги пахли новым пластиком, свежей краской по логотипу, кофе, который ни-

кто не допивал. Страх пах потом под свежей краской.

Он пришёл подписать манифест. Это была единственная причина, по которой независимого буксировщика пускали в кают-компанию флагмана: бумага. Кто-то должен был расписаться, что резак доставлен в целости, и этим кем-то был Корин.

Кают-компания была полна. Голт стоял у голоэкрана, и на нём была та безупречность, которая в невесомости давалась только усилием, — воротник лежал ровно, будто припиленный, волосок к волоску. На виске поблёскивала линза-визуализатор. Корин знал, что она значит: всё, что видит Голт, уходит в эфир. Директор не просто смотрел на «Гесперид». Он транслировал свой взгляд на неё восьми миллиардам человек.

— ...и вот почему это не просто открытие, — говорил Голт голосом гладким, отрепетированным, созданным для того, чтобы под него подписывали чеки. — Это порог. По ту сторону — технология, которая строит сама себя. Производство без фабрик. Энергия без топлива. Конец дефицита как явления. — Он улыбнулся в линзу. — История не помнит вторых, друзья. И не помнит осторожных.

По кают-компании прошёл одобрительный гул. Корин прижался к переборке у входа и стал искать глазами, где расписаться и уйти.

— Это гроб.

Голос был негромкий, сухой, женский. Гул стих.

Женщина у дальней стены не встала — в невесомости не встают, — но как-то развернулась к центру так, что стала центром. Немолодая, седая прядь через висок, потрёпанный наручный рекордер, который она держала в поле зрения, будто следила, чтобы он писал. Корин её не знал. По тому, как на неё посмотрел Голт, он понял, что и Голт предпочёл бы не знать.

— Доктор Ковач, — сказал директор с терпением, которое было хуже гнева.

— Вы называете это сундуком, потому что хотите золота. — Ковач говорила ровно, ни на кого конкретно, будто диктовала. Рекордер в её руке мигал. — Я называю это гробом, потому что видела крышку. Объект симметричен по трём осям. Внутренняя структура — с признаками активного подавления, консервации, карантина. Его не потеряли в космосе. Его запечатали. Тщательно. С той тщательностью, с какой запечатывают не сокровище, а проблему.

— У вас есть красивая гипотеза, — сказал Голт.

— У меня есть данные.

— У вас есть интерпретация данных. — Голт развёл руками, обращаясь к комнате, к линзе, к восьми миллиардам. — И это ценно, правда ценно. Но давайте будем честны об одной вещи. — Он выдержал отработанную паузу. — Гипотезы не патентуют.

Смех. Осторожный, но смех. Ковач не изменилась в лице. Она уже слышала этот смех раньше, понял Корин; она слы-

шала его всю жизнь.

— Молчащий ковчег, — сказала она, и в наступившей тишине голос её был очень тихим и очень ясным, — молчит не зря.

Никто не засмеялся. Но никто и не возразил. Голт уже отвернулся к экрану, уже говорил что-то про график, про окно трансляции, про «завтра, в прямом эфире, на весь мир». Момент прошёл, растворился в логистике, как растворяется всё неудобное.

Корин нашёл планшет с манифестом. Приложил палец. ДОСТАВЛЕНО. ПРИНЯТО. К. КОРИН. Ключ Тимо качнулся на шнуре, стукнул о край планшета — тихо, костяно.

Вот этими руками, подумал он, я притащил то, чем сейчас будут это резать. Мысль была неудобная, и он сделал с ней то же, что делал с неудобными мыслями двенадцать лет, — отложил, как откладывают счёт, который нечем оплатить.

Он посмотрел ещё раз на седую женщину с рекордером. Она смотрела на «Гесперид» на экране — на длинный тёмный бок, на борозды. Смотрела так, как смотрят на закрытую дверь, зная, что за ней.

Корин узнал этот взгляд. Он видел его в зеркале.

Он расписался и ушёл.

Он не должен был это видеть.

Он уже отстыковался бы — груз сдан, бумага подписана, — но Ная просила остаться, и он остался, зависнув на «Дворняге» в двух сотнях метров от корпуса «Фаэтона», в тени

флагмана, наблюдая, как в этой тени суеются огни.

Пробный скан начали в третью вахту, когда половина экипажа спала. Корин понял это по приборам раньше, чем по связи: «Дворняга» дёрнула стрелками, датчики поля пошли вверх, и в наушнике фоновый шум эфира на секунду свернулся в тонкий, ноющий тон, будто где-то далеко провели пальцем по краю бокала.

— Что это, — сказал он. Не Нае, никому. Приборам.

Приборы не ответили. Тон стих.

Он вызвал канал. Не пилотский — общий, рабочий, куда стекались доклады сканирующей группы. Голоса были деловые, скучноватые, ночные.

— ...глубинный скан, третья серия, мощность семьдесят.

— Отклик по борту?

— Ноль. Как стена. Мёртвая порода.

— Поднимаем до девяноста.

Пауза. Гул несущей.

И тогда «Гесперида» ответила.

Корин увидел это раньше, чем услышал доклад. По тёмному боку объекта, вдоль одной из борозд, прошёл свет — не отражение, не блик прожектора, а собственный, изнутри: холодный, белёсый, без единого градуса тепла, будто светилась не поверхность, а что-то под ней, сквозь три километра камня. Свет пробежал по борозде и погас. Одна секунда. Может, две.

На «Дворняге» дозиметр щёлкнул и замолчал.

В общем канале на миг стало тихо. Потом — взрыв голосов, перебивающих друг друга:

— Отклик! Есть отклик по борту!

— Что за черта, откуда...

— Пишите, пишите всё, полная телеметрия...

И поверх — голос Голта, вклинившийся откуда-то, с той радостной, хищной интонацией, которую Корин уже ненавидел:

— Вот оно. Вы видели? Вы это видели? — Директор почти смеялся. — Оно реагирует. Актив реагирует на воздействие. Это не мёртвый камень, друзья, это живая система, и она отзывается. — Пауза, короткая, торжествующая. — Инвестиция дышит.

Корин смотрел на бок объекта, где только что был свет и снова была тьма.

Голт услышал: актив дышит.

Корин услышал другое.

Он услышал, как что-то очень старое, очень терпеливое и очень большое приоткрыло один глаз в темноте — потому что кто-то постучал в дверь, которую три километра камня и целая мёртвая цивилизация запирали ровно затем, чтобы в неё больше никто никогда не стучал.

Костяшка сама поднялась к переборке — и остановилась на полпути. Впервые за годы Корину не захотелось слушать, что скажет корабль.

Он опустил руку и стал смотреть в темноту, где спало то,

что они только что назвали инвестицией.

Часть 2. Разрез

Вскрытие назначили на следующую вахту, и весь мир пришёл смотреть.

Корин смотрел тоже — не из любопытства, а потому что не мог оторваться, как не можешь оторваться от медленно падающего стакана. На главном экране «Дворняги» шла трансляция Гелиоса: логотип, обратный отсчёт, лицо Голта, подсвеченное так, чтобы морщины читались как опыт, а не как возраст.

— Через два часа, — говорил Голт в камеру, — человечество откроет дверь, за которой его ждёт следующая тысяча лет.

Внизу экрана бежала строка со счётчиком зрителей. Он рос на несколько тысяч в секунду. Полтора миллиарда. Два. Весь мир бросил свои дела, чтобы посмотреть, как «Гелиос-Прайм» открывает будущее в прямом эфире, — и Корин поймал себя на мысли, что Голт не случайно назначил вскрытие под трансляцию, а не наоборот. Сначала была аудитория. Наука пришла потом, чтобы аудитории было на что смотреть.

За его спиной, в кадре, у пультов работала группа. Корин узнал среди них Наю — по посадке головы, по тому, как она держалась чуть в стороне. Рядом с ней, тоже в стороне, была Ковач.

Он прибавил звук общего канала.

— ...вношу в протокол особое мнение. — Голос Ковач, сухой, ровный, но громче обычного: она говорила для записи, для истории, для того единственного суда, которому доверяла. — Объект классифицирован мной как карантинное сооружение. Вскрытие сопряжено с неизвестным, но потенциально невозполнимым риском. Я требую, чтобы возражение было зафиксировано с моим именем и датой.

— Зафиксировано, — сказал Голт, не оборачиваясь. Тон был лёгкий, почти ласковый. — Доктор Ковач любит, чтобы её имя было на бумаге. Мы это уважаем.

Смех в кают-компании. Тот же осторожный смех.

И тогда заговорила Ная.

— Я тоже вношу.

Корин замер.

— Пилот высадки Ная Тарен. — Голос в канале был не такой ровный, как у Ковач; в нём слышалось, как колотится сердце, но она не остановилась. — Я поддерживаю особое мнение доктора Ковач. Мы не знаем, что внутри. Мы даже не знаем, задаём ли мы правильный вопрос. Прежде чем резать, надо хотя бы...

— Пилот Тарен. — Голт наконец обернулся. Он улыбался. Он смотрел прямо в линзу на своём виске — то есть прямо в глаза восьми миллиардам. — Напомните мне. За что вам платит «Гелиос-Прайм»?

Тишина.

— За... — Ная запнулась. — Я пилот высадочного модуля.

— Вы сажаете челнок, — мягко подсказал Голт. — Прекрасно сажаете, я читал ваше досье. Мы платим романтикам за то, чтобы они хорошо сажали челноки. За философию мы платим философам. — Пауза. Улыбка стала шире. — И, честно говоря, даже философам мы платим не за то, чтобы они мешали работать.

Смех. На этот раз громче — разрешённый сверху, безопасный. Кто-то даже похлопал.

Канал донёс короткий, давленный звук — Ная выдохнула, будто её ударили под дых. Потом тишину. Она не ответила. Ответить было нечем: восемь миллиардов только что услышали, что она романтик, которому платят за посадку, и это осталось в записи навсегда.

Корин сидел в темноте своей рубки и слушал эту тишину, и в нём медленно, знакомо поднималось то, что он годами давил в себе, — не жалость даже, а узнавание. Он знал, каково это: сказать правду человеку с деньгами и услышать в ответ смех. Он тоже когда-то был в комнате, где смеялись. Только тогда смеялись над тем, кто предупреждал, а он, Корин, смеялся вместе со всеми — и через неделю хоронил брата.

Тимо было двадцать три. Тимо верил расчётам старшего брата так, как верят закону природы. Корин сказал ему: трупом запечатан, но за печатью — премия, которая изменит всё; печать старая, разгерметизации не будет, я посчитал. Он

посчитал. Он ошибся в одном знаке, в одном допущении, в одной строчке, которую поленился перепроверить, потому что уже видел за дверью подарок. Дверь вскрыли. Подарка не было. Была декомпрессия, и вакуум, и восемь секунд, за которые Корин успел схватиться голой рукой за мёрзлую скобу — и не успел схватить брата.

С тех пор он не вскрывал запечатанное. И с тех пор он слушал корпус костяшкой — потому что однажды не слышал, как тонко жалуется металл перед тем, как убить.

Он протянул руку и открыл прямой канал.

— Тарен, — сказал он.

— Не сейчас, Корин. — Голос был сдавленный.

— Он идиот, — сказал Корин. — Дорогой, отглаженный идиот. Ты сказала правильную вещь. Правильные вещи в таких комнатах всегда звучат смешно. Это не про тебя. Это про комнату.

Помехи. Долгий вдох.

— Спасибо, — сказала Ная очень тихо. И отключилась.

Через час после трансляции на пульт «Дворняги» упало сообщение — не от Голта, от юридического отдела Гелиоса. Корин прочитал его дважды.

Стандартная формулировка, обёрнутая в вежливость: в связи с переходом к активной фазе операции присутствие вспомогательных бортов в зоне вскрытия более не требуется; буксир «Дворняга» освобождается от дальнейших обязательств; оплата будет произведена согласно графику.

Он был свободен.

Более того — он был свободен по их вине. Контракт, который он подписал, содержал пункт о безопасности: никаких работ, сопряжённых с невозполнимым риском, без единогласного согласования научной группы. Ковач внесла особое мнение. Единогласия не было. Технически — Корин перечитал мелкий шрифт, старая привычка — Гелиос нарушил собственный контракт первым. Отцепись он сейчас, уйди в темноту — и ни один суд не смог бы вычестить из его платы ни кредита. Он ушёл бы чистым. Правым. Одиноким, как любил.

Всё в нём говорило: уходи.

Он знал эту логику наизусть, он выстроил на ней жизнь. Не трогай. Не привязывайся. Единственный способ никого не погубить — не иметь никого, кого можно погубить. Отцепись, буксир. Сдай трос. Уходи в темноту, где железо не лжёт, где никто не смеётся над правдой и никто не хоронит брата.

Корин положил руки на пульт отстыковки. Два тумблера, последовательность из четырёх движений, тридцать секунд — и он один.

Он смотрел на тумблеры.

Потом на экран, где в тени флагмана суетились огни, где к тёмному боку «Гесперид» уже подводили резак, которые он привёз. Его резак. Он их дотащил. Масса есть масса; ты цепляешь трос и не спрашиваешь, что на другом конце. Он

всегда так говорил. Это было удобно. Это снимало вес.

Двенадцать лет он снимал с себя вес — рейс за рейсом, трос за тросом: чужой груз, чужие решения, не моё дело. И вот вес вернулся весь разом, потому что груз на этот раз был его, дотащенный его руками, и решение было тоже его. остаться или уйти. Не моё дело больше не работало. Дело было его.

Где-то там, среди огней, была женщина, которой при всём мире сказали, что она романтик, годный только сажать челнок, — и которая всё равно попросила его остаться. На всякий.

— Чёрт, — сказал Корин.

Он снял руки с тумблеров.

Он не отстыковался. Он не сказал себе, что это разумно, — это было неразумно, это было ровно то, чего он не делал двенадцать лет. Он просто остался, потому что часть его — маленькая, придушенная, которую он считал умершей вместе с Тимо, — не могла улететь в темноту и оставить её там одну, у закрытой двери, с людьми, которые смеются.

Он вызвал Наю.

— Я остаюсь пристыкованным, — сказал он. — Слышишь? Что бы ни было. Если понадобится уйти быстро — я тут. Движки холодные, подниму за девяносто секунд.

Пауза.

— Ты же хотел уйти, — сказала она. — Я видела твой борт на схеме. Ты уже разворачивался.

— Передумал.

— Почему?

Он не знал, как ответить правду, поэтому сказал полуправду, которая была честнее правды:

— Потому что кто-то должен быть трезвым, когда все пьяны. — Он помолчал. — И потому что у тебя, кажется, единственная трезвая голова на всём этом корабле, а трезвых нельзя оставлять одних среди пьяных. Плохо кончается.

Тихий звук в канале. Возможно, смех. Возможно, нет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.